

## Отвѣтъ А. А. Карелину.

Милостивый государь!

Вашъ примѣръ неумѣнія толпы читать литературные сюжеты на произведеніяхъ живописи нѣсколько неудаченъ. Риксенъ воспроизвелъ на своей картинѣ такой моментъ изъ легенды о Донъ-Жуанѣ, который не трактовался ни Мольеромъ, ни Голстымъ и никѣмъ изъ авторовъ пользовавшихъ легеной; этотъ моментъ является результатомъ устнаго творчества массы, создавшей легенду; онъ не вошелъ въ общеизвѣстную литературу о Донъ-Жуанѣ, а потому и не могъ быть знакомъ лицамъ, сужденія которыхъ вы слышали предъ картиной Риксена.

Непониманіе современными культурными людьми религіознаго искусства Византіи, приводимое вами въ опроверженіе моихъ словъ о томъ, что искусство должно быть просто, ясно и понятно—не опровергаетъ моего положенія и рѣшительно ничего не доказываетъ. Религіозная живопись отъ вѣковъ, слѣдовавшихъ тотчасъ же за періодомъ иконоборства, и до предшественниковъ Рафаѣля была проникнута мистицизмомъ, вполнѣ понятнымъ и роднымъ настроенію людей того времени. На всемъ протяженіи своего существованія это искусство имѣло тотъ-же служебный характеръ, какой имѣютъ въ данное время для насъ рисунки въ бытоописательныхъ и историческихъ книгахъ, но конечно общее психологическое значеніе его было обширнѣе и глубже значенія нашихъ иллюстрацій. Художникъ среднихъ вѣковъ, изображая религіозный сюжетъ, былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что онъ изображаетъ дѣйствительность, правду и хотя онъ рисовалъ сверхчувственное, но какъ-бы оставался реалистомъ. Религіозное преданіе принималось художникомъ за фактъ. Художникъ былъ проникнутъ сознаніемъ его буквальной правды, и передавалъ его, какъ дѣйствительность, съ безхитростной вѣрой, а публика того времени подходила къ его картинѣ въ настроеніи такомъ-же, каково было настроеніе художника въ моментъ творчества. Художникъ той эпохи изображалъ не грезы и не отвлеченія, а документы и факты—ибо религія тогда была реальнымъ фактомъ,—каждый имѣлъ ее въ себѣ и все были проникнуты ею. Художникъ того времени былъ убѣжденъ и могъ убѣдить, въ немъ была сила, потребная для этого и силу эту онъ почерпалъ въ вѣрѣ. И если дѣйствительно византійская живопись намъ не понятна, то только потому, что мы слишкомъ далеки отъ того настроенія и того вѣянія мысли, подъ влияніемъ которыхъ оно сложилось.

Символъ—вѣрнѣ аллегорія, а не символъ, проникъ въ христіанскоѣ искусство подъ влияніемъ гоненій язычниковъ и совсѣмъ не можетъ знаменовать собою свободу искусства, а какъ разъ наоборотъ, невозможность искусства воспроизводить въ належащихъ формахъ тѣ явленія и тѣхъ лицъ, воспроизводить которыя оно желало и стремилось. Позднѣе аллегорія по привычкѣ продолжала существовать. Аллегорія коснулась и дѣйствительности. Въ ХХ вѣкѣ аллегорію изображали въ видѣ женщины, пріятно улыбающейся, лѣсъ—полунагой мужской фігурай, сидящей у скалы со стволомъ дерева въ рукахъ и т. д. Но эти формы опять таки не самостоятельно вырабатывались художниками, а представляли собою воспроизведеніе поэтическихъ уподобленій, имѣвшихъ мѣсто въ стихахъ той эпохи.

И въ скоромъ времени все это изчезло,—„нельзяе само собою атрофировалось“, какъ сказали вы. Вообще-же не пониманіе нами настроеній прошлаго вполнѣ естественно и психологически объяснимо и такимъ образомъ ваша ссылка на неясность для насъ византійства, приведенная въ подтвержденіе непониманія массой искусства вообще, какъ видите плохо служить вамъ въ защиту „новаго искусства“, т. е. „чуда-чество“ г. Врубеля и философскаго творчества Акселя Галлена.

Если вы дадите картину даже и съ фантастическимъ сюжетомъ, не написанную ясно и просто,—ее поймутъ. Вѣдь понимаютъ-же „Славословіе“ Сурикова въ третьяковской галлереѣ, понимаютъ и „Коверъ-Самолетъ“ Васнецова здѣсь на выставкѣ—къ слову сказать, богатой картинами, но бѣдной искусствомъ. Подъ картиной Полѣнова „Христосъ и грѣшница“ не надо подписывать ея название и Ге, не смотря на его мистицизмъ, тоже понятенъ. Понятны всѣ художники, которые мыслятъ ясно, ибо сказано „кто ясно мыслить, тотъ ясно и излагаетъ“. Краски—это тотъ-же стиль.

Очевидно, что Врубель и Галленъ только потому не поняты, что они плохо сами себѣ представляютъ то, что хотятъ выражить своими красками. Я противъ приложения эпитета „новое“ къ искусству этихъ художниковъ, къ ихъ гуманнымъ и темнымъ фразамъ, ничего не говорящимъ ни уму, ни сердцу. Что есть новаго у Акселя Галлена? Изъ исторіи живописи мы видимъ, что попытки изображать отвлеченные идеи красками имѣли мѣсто еще девять вѣковъ тому назадъ. Онѣ были и исчезли, такъ какъ никто ихъ не могъ понимать, ибо они были не столько произведеніями искусства, сколько иллюстраціями къ беспомощности человѣческаго ума, не находившаго въ себѣ достаточно силъ для того, что бы дать своимъ представленіямъ точные и опредѣленыя формы. Когда онъ развился до того, что могъ создать эти формы, когда слово, самое могучее орудіе, его спекуляціи количественно обогатилось,—отвлеченные идеи приблизились къ его пониманію, и краски стали ненужны для философіи и психологіи.

Галленъ находить, что онѣ нужны. Старо. И сюжетъ его картины старъ, какъ міръ: еще Веды трактовали его въ исторіи о принципѣ Начинѣстасъ. И техника его стара—вѣдь это же техника китайцевъ и тѣхъ живописцевъ, которые разрисовываютъ верхноторскіе подносы. А помимо всего картина его бѣда идеями. Неужели представленіе о человѣкѣ вѣнѣ націи можно дать, показавъ только спину человѣка? Почему же не только одни пятки? Замѣтьте, что эта оригинальная манера представлять человѣка вѣнѣ націи не позволить Галлену представить его вѣнѣ расы. По спинѣ, нарисованной Галленомъ, несмотря на то, что она набросалъ на нее лиловыхъ тѣней, я всетаки вижу, что имѣю дѣло съ европейцемъ. Почему-же

именно европеца, а не индуза взял Галлен для изображения погони за идеалом? В Индии раньше всех страны начали искать идеал и дальше всех ушли в теоретическом искании его.

Неужели представление о человеке в эпохи и нации можно дать только нарисовав человека голым? Разве так уже и нельзя из смешения всех архитектурных и декоративных стилей создать нечто совершенно оригинальное, фантастическое и в то же время не принадлежащее никакой эпохе и нации? На какую эпоху указывает и какой нации принадлежит эта архитектура, которая изображена на декорации „Снегурочки“ во втором акте?..

Ничего, кроме крайней скучности мысли, не видно на картине Галлена, даже и тогда, когда эта картина комментирована, наковец какое моральное значение иметь погоня за идеалом, изображенная так, как ее изобразил Галлен, и даже изображенная яснее, образнее и доступнее пониманию?

Есть одна картина — я не помню ее автора, — знаю лишь, что это француз. Поместили вадь пропастью скакать на конь через трупы женщин и детей, возбужденный человек, простирая жадно вперед руки. Впереди его фортуна на колесе. Она зовет его к себе и мчится от него вдаль, держа в одной руке рог изобилия, из которого сыпется золото, в другой — лавры. Сзади человека, почти уже рядом с ним, стремящимся за счастьем, молча скакать, бросая на него тень, смерть в черном плаще и на черном коне. Вам понятна эта картина, вы знаете, как ее назвать. Вы сразу видите, что пред вами погоня за счастьем, скачка к смерти. Все ее детали у места — все они объяснимы, несмотря на то, что сюжет картины настолько же абстрактен, как и „Погоня за идеалом“. Этот Галлен неуклюж как истый финн в своей погоне за оригинальностью. Его желание показать культуру подстиженными апельсинами деревьями и маком, разсаненным на одинаковом друг от друга расстоянии на зеленой площади, не дающей понять себя (что она такое? ковер?), смешно и жалко также как смешна и жалока тот маленький фейерверк из подсолнухов, который он называл почему-то „Цветком смерти“. На самом деле: цветок сначала кажется ракетой, потом напоминает о подсолнухах; всего-же меньше он похож, именно, на цветок.

Есть что то низкое в этом оригинальничанье: великое, трагическое явление — смерть — как бы опошлена этим изображением. Века лучшие умы от авторов Ригь-Веды и до Нитче пытались разгадать эту загадку. Явился Аксель Галлен и намазал что-то смешное и жалкое, крохотное. Как это отдает парижским „Кабачком смерти“!

„Нет большого заблуждения, — говорит Шопенгауэр, — как полагать, что каждое изменение есть прогресс“. Вы склонны видеть прогресс в искусстве Галлена и Врубеля? Что же? У всякого — свой вкус. Мы с вами во вкусах не сойдемся.

Заключение, которое вы вывели из примечания картины Рубенса, гласить, что честь выше искусства, тьма ниже его значение для жизни, ибо ведь вы говорите, что честь оно выше, тьма уже кругом понимающих его людей. Я уверен, что искусство нужно жизни, людям, что оно может помочь жить им. Жизнь тяжела, — оно даст возможность отдохнуть от нее; люди грубы, — оно облагородит их; они не особенно умны, — искусство им поможет развиться. Искусство нужно публике, а публике нужны, и нужно давать публике такие картины, которые она понимала бы.

Вы приглашаете меня к признанию за искусством свободы. Я не отрицаю свободы искусства, я только решительно высказываюсь против свободы „чудачеств“ в искусстве.

„Искусство есть откровение“ — говорит талантливый теоретик-прерафаэлист Джон Рескин и еще он говорит, что „всякое великое творение представляет собою акт восхваления“. Новое искусство не имеет ничего общего с этими положениями эстетики, авторитет которой обязателен для вас, как для человека видящего въ прерафаэлизме — явление отрадное. Я кончую свое выражение вам тьма, что категорически заявлю, что ни нового искусства, ни какого-либо искусства въ картине Галлена я не вижу, и уверен, что его там нет. За Врубелем я признаю умные владеть кистью и красками и еще большее умные портить хорошие сюжеты. Признаю за всеми свободу суждения, а за публикой право оценки таланта художника,

Не умаляем ли мы, однако, нашим маленьким спором значения искусства? Мне кажется, что вы делаете именно это, суживая роль искусства до служения только избранным и являясь апологетом людей, которые дают алчущим вмество хлеба камень.

М. Горький.